



**Кн. С. Н. ТРУБЕЦКОЙ**

## **Противоречия нашей культуры**

На торжественном заседании С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества, генерал Киреев произнес речь о противниках и союзниках славянофильства \*<sup>1</sup>. Почтенный оратор стремится доказать живучесть славянофильской идеи и несостоятельность направленных против нее нападений. Славянофильство хотя и не прогрессирует, но и не разлагается, как утверждают его «противники». Оно живет и крепнет, находя себе многочисленных союзников в России и за границей. Сорок лет тому назад на него косилась администрация: теперь обстоятельства изменились — в пользу славянофилов. «Мессианическое значение России относительно Запада не подлежит сомнению, это не химера, не утопия» (с. 14): одно славянофильство может избавить Европу от парламентаризма, анархизма, безверия и динамита (там же). Противники славянофильства нападают на него либо потому, что сами(?) проникнуты разрушительными западноевропейскими теориями, либо потому, что смешивают с ним явления, ничего общего с ним не имеющие, и причисляют к славянофилам писателей как Вл. С. Соловьев и К. Леонтьев, которые сами отрекались от славянофильского учения и полемизировали против него.

Не имея возможности разбирать всех противников этого учения, ген. Киреев решил ограничиться наиболее «типичными» из них, и с этой целью избрал г. Милюкова, в качестве позитивиста, относящегося скептически к идеалам русского мессианизма \*\*, и меня — за мою статью о Леонтьеве, помещенную в «Вестнике Европы» <sup>2</sup>.

---

\* Протоколы общих собраний гг. членов С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества 12 и 19 декабря 1893 г.

\*\* См. его статью «Разложение славянофильства» в журнале «Вопросы философии и психологии», май 1893 г.

Признаться, такой выбор меня несколько удивил: ген. Киреев, вместо г. Милюкова или меня, пытавшихся дать лишь объективное объяснение совершившегося разложения славянофильства, мог бы выбрать гораздо более решительных противников этого учения. Если ген. Киреев не хочет более полемизировать с преемниками прежних западников, я мог бы указать ему, как на самых сильных противников прежнего славянофильства, на Вл. С. Соловьева и К. Леонтьева — как ни странно может показаться такое сопоставление. Во всяком случае и г. Милюков, и я в значительной степени пользовались их аргументами.

Положим, что со времени И. С. Аксакова славянофилы не раз полемизировали с Вл. С. Соловьевым. Их отношение к нему достаточно выяснилось. Но я с большим интересом прочитал бы какое-нибудь славянофильское опровержение теорий К. Леонтьева. Ген. Киреев отделяется от него очень легко заявлением, что этот реакционер, изверившийся в славянстве и национальной политике, проповедует аракчеевщину и не имеет ничего общего с славянофилами. Тем более следовало обратить внимание на его критику первоначального славянофильства — чрезвычайно сильную и оригинальную. Я воспроизвел ее в моей статье довольно пространно, и мне кажется, что, разбирая мою статью, ген. Киреев должен был прежде всего остановиться на этой критике. Я думаю, что, если бы ему удалось действительно ее опровергнуть, мы легко нашли бы с ним почву для соглашения.

Признаюсь, уже одно отречение от Леонтьева, высказанное в весьма резкой и решительной форме, меня крайне порадовало. Я никогда не считал Леонтьева истинным славянофилом. Но в той газетной брани, которую вызвала моя статья, мне доказывали между прочим, что Леонтьев именно и есть настоящий славянофил, очистивший учение своих предшественников от европейского либерализма, от случайной примеси чужеродных гуманитарных и прогрессивных идей западного происхождения.

Я, с своей стороны, думаю, что славянофилы 50-х и 60-х годов могли бы только с отвращением протестовать против цинической проповеди Леонтьева, точно так же, как они, несомненно, протестовали бы против теперешних реакционеров. Нравственный облик и вся деятельность таких людей, как Самарин или Аксаков, память которых дорога не одним славянофилам, — представляет самый резкий контраст всему учению Леонтьева.

Тем не менее я желал бы знать, *как* ответили бы старые славянофилы на его критику? Они, разумеется, могли бы обличать

нравственную ложь и противоречия его собственного учения. Но, как я полагаю, Леонтьев правильно указал на большую неопределенность славянофильского учения и на внутренние противоречия, между национализмом и универсализмом славянофилов, между их византийским идеалом допетровской культуры и их либеральным панславизмом. Эти противоречия, эта неопределенность понятий продолжают сказываться и в речи генерала Киреева. Мы постараемся это показать, чтобы защитить себя и К. Леонтьева от незаслуженных нападений.

## I

«*Православие, самодержавие и народность* — такова наша формула», — говорит генерал Киреев. Недаром почтенный оратор утверждает, что противники славянофильства должны непременно «предлагать» «унию или «бумажные гарантии парламентаризма» (с. 22), и великодушно рекомендует снисхождению «наших цензур» тех из своих противников, которые, после этого, решатся полемизировать с славянофилами.

Признаться, это стремление канонизировать славянофильство, упрочить за ним какую-то мнимую монополию на «православие, самодержавие и народность» — придает ему несколько особый характер, весьма резко отличающий его теперешний вид от первоначального учения. В самом деле, если генерал Киреев думает, что в его «формуле выражаются и религиозно-этические, и политические идеалы русского народа (с. 8), то по какому праву он монополизировать ее за собою? Она, несомненно, существовала в нашей литературе и до славянофилов, остается и после них. Леонтьев, по словам ген. Киреева, не имеет ничего общего с славянофилами, и однако, он исповедовал православие и самодержавие, и даже, несмотря на свою глубокую критику национальной политики, считает себя поборником «истинно русского национализма». С другой стороны, неужели же ген. Киреев решится утверждать, что все западники изменяли Церкви, престолу и отечеству в своем споре с славянофилами?

Генерал Киреев, без сомнения, согласится, что формулой «православие, самодержавие и народность» никогда так не злоупотребляли, как в наши дни. Ею равно пользуются противники и защитники земства, общинного землевладения, реформ Александра II. Ею явно злоупотребляет всякий, кто хочет зажать рот противнику, недостойным образом превращая этот «символ веры русского патриотизма» в какое-то новое «слово и

дело». Очевидно, нужно точно выяснить, в каком смысле надо понимать эту формулу, чтобы помешать злоупотреблению, при- скорбному для всякого истинного русского патриота.

Во всяком случае как бы ни было высоко то место, которое занимала в славянофильстве помянутая формула, оно ею не исчерпывалось, и не в ней состояла его оригинальность в отличие от обыкновенного патриотизма. Славянофильство заключало в себе целую философию, целую политическую и религиозную программу, которая могла казаться опасною правительству 50-х годов. Славянофилы мечтали о создании самобытной славянорусской культуры, в корне своем отличной от той «гнилой» западноевропейской цивилизации, которая была «насильственно привита» нам Петром Великим и которая уже в значительной степени успела стать условием нашего настоящего культурного существования. Каковы же идеальные начала исконно русской, допетровской культуры, к которой хотели вернуться славянофилы? Леонтьев совершенно правильно указывал их *византийский* характер.

«Византизм, — говорит ген. Киреев, — выражение крайне неопределенное: в политике принято отождествлять его с коварством, лживостью, в религии — с застывшим формализмом, с слепым буквоедством, отказывающимся от всякой мысли, наконец — с поглощением догмата обрядом. Что такое направление, как частное, существовало в средневековой греческой церкви и существует и поныне, как оно существует и в других православных церквях, этого нечего оспаривать, но во всяком случае в *наших* славянофильских теориях ему нет места... Мы, славянофилы, ни прежде, ни теперь не ставили и не ставим обряда выше догмата и не преклонялись и не преклоняемся перед буквой» (с. 11).

Но где же делает это Леонтьев и где нашел у него ген. Киреев подобный византизм? Преклонение перед буквой и мертвой обрядностью, смешение обряда с догматом является, как известно, характерной чертою не византизма, а нашего старообрядчества, нашего раскола, в котором сказался наш *национальный протест* против византизма. И Леонтьев, будучи врагом всякого национализма в церкви, разумеется, такого протеста одобрять не мог. Если он и отзывался иногда сочувственно о старообрядчестве, то лишь за то, что видел в нем «один из самых спасительных тормозов нашего прогресса»<sup>3</sup>, а вовсе не за его крайний ритуализм.

Леонтьев дает совершенно иное определение византизма, чем то, которое мы находим у генерала Киреева. Он указывает, что

идеалы православия и самодержавия, которыми жила древняя допетровская Русь и которые доселе «проникают насквозь весь великорусский общественный организм», обуславливая его силу и крепость, суть византийские идеалы, идеалы, завещанные нам византийской империей. Что было в них специально русского или славянского? — спрашивает Леонтьев. Что в них такого, что не было бы уже византийским? При этом надо оговориться, что Леонтьев вовсе не думал отрицать универсальность Церкви или сверхнародный характер государственного начала. Он признавал лишь, что вся концепция церкви, все формы церковной жизни в ее отношении к миру, все своеобразное понимание взаимных отношений Церкви и государства даны нам Византией, точно так же как и допетровский идеал самодержавия. Какие же культурные начала следует искать теперь в России и славянстве за вычетом того, что дала славянскому миру Византия? Это общекультурные начала *западной* цивилизации — материальная культура и неразрывно связанное с нею западноевропейское просвещение. Других культурных начал, кроме византийских и западноевропейских, нет ни у нас, ни в славянстве, ибо национальность сама по себе, помимо религиозно-этических верований и политических принципов, не может быть культурным началом. Это только «этнографический материал», как выражаются Данилевский и Леонтьев. Что касается до «национализма», в котором Леонтьев видит «антирелигиозное и антигосударственное» начало ложного демократизма, то, по справедливому замечанию генерала Киреева, его уже начали «применять к жизни» на Западе, когда у нас о нем еще только спорили (с. 6).

Теперь спросим себя вместе с Леонтьевым: могут ли послужить одни византийские идеалы допетровской Руси к объединению всех славян? Могут ли они одни залечь в основание новой «всеславянской культуры»? Вместе с Леонтьевым приходится отвечать решительным *нет*. Здесь его критика панславизма тем сильнее, чем более желал он его осуществления на византийском основании: для более тесного сближения с славянами, для практического осуществления панславизма потребовалось бы усвоение Россией тех культурных устоев Запада, которыми издавна живут западные славяне и к которым югославянские народы тяготеют несравненно больше, чем к идеалам византийским. К этим последним южные и западные славяне равнодушны или глубоко враждебны. Недаром до Петра В<еликого> вся наша борьба с Западом была почти исключительно борьбою с западными славянами. На чем же, спрашивает Леонтьев, могла

бы сойтись с славянами Россия, если она не захочет присоединить их насильственно, чтобы создать себе «пять или шесть Польш вместо одной»? \* Племенные интересы только разделяют славян, племенное сродство лишь усиливает национальную вражду. Леонтьев указывает, и по нашему мнению совершенно справедливо, что помимо насильственного присоединения объединить славян могло бы лишь нечто стоящее вне православия, вне византизма, вне нашей народности — интересы демократии, национальной независимости, политической свободы и культурного прогресса. Мы не можем сойтись с славянами на почве византийского обособления от Европы. Поэтому Леонтьев так боится «опрометчивого панславизма», видя в нем неизбежное торжество европейских начал в славянстве над византийскими. Если бы состоялось такое объединение славян после победы нашей над Австрией, оно и внутри самой России доставило бы торжество западноевропейским культурным началам.

Что могли бы ответить славянофилы на эту критику панславизма? Вся новейшая история освобожденного славянства подтверждает ее справедливость. Пришлось бы согласиться с Леонтьевым и отречься от славян, а им — радикально изменить все отношение к *западной культуре*, признать ее универсальное значение, допустить, что она является источником не только военной и экономической сил современной России, но и внутренней силы ее, наряду с ее религиозными и политическими идеалами, переданными ей Византией.

## II

Не подлежит никакому сомнению, что византийские идеалы, которыми жила допетровская Русь и на которые не думала посягать Петровская реформа, отличны по существу от западноевропейских культурных начал. Византийская культура допетровской России была цельной, свободной от внутренних противоречий; но она оказалась *недостаточной* для успешного разрешения государственных и экономических задач России. Она не могла *одна* залечь в основание не только всеславянской, но и русской культуры: потребовалось ее восполнение, потребо-

---

\* Разочарованный славянофил. С. 791. Мне пришлось бы снова воспроизвести превосходную характеристику современного славянства, данную Леонтьевым в подтверждение его взглядов на отношение славян к России.

валось усвоение европейской образованности. Современная русская культура — смешанная, и соединяет в себе внешним образом два различные, отчасти противоположные друг другу начала — византийское и европейское. И между тем эти два начала в равной степени исторически необходимы; ни от того, ни от другого Россия не хочет и не может отречься, не отрекаясь от себя самой, от всей своей силы и своих верований, от своего народа и своей интеллигенции, от своего прошлого и своего будущего. В этом вся оригинальность, все трагическое своеобразие настоящего положения, в этом великая историческая задача России, от решения которой зависит вся ее судьба и судьба славянства. Важно уже одно сознание этой задачи, выяснившейся в споре наших западников и славянофилов. Как уничтожить роковой антагонизм культурных начал современной России? Славянофилы предлагали весьма простое средство, чтобы исцелить это внутреннее противоречие, чтобы достигнуть вновь утраченной цельности личных и общественных идеалов и верований, они призывали русскую интеллигенцию вернуться к народу и его святыне, сознав основную ложь западной цивилизации. Они требовали, чтобы Россия, круто своротив с того пути, на который она вступила при Петре, — вернулась к идеалам московского периода. В этих идеалах — залог нашей самобытности, залог новой и цельной всеславянской культуры, в них — мессианическое призвание русского народа.

Правда, самые идеалы значительно подновлялись, как указывали все критики славянофильства. Оно и не могло быть иначе: славянофилы верили в их универсальность, в их грядущее общекультурное значение и не помышляли о простой реставрации древневизантийской империи, о которой мечтал Леонтьев. В теории «русские начала» противопоставались «западным» с большой исключительностью; на практике — их утверждение и развитие совмещалось с весьма широким усвоением западноевропейских идей — политических, философских и даже богословских. Вопреки своему романтическому построению всеобщей и русской истории, вопреки своему национальному протесту против «гнилого Запада», славянофилы грешили эклектизмом, сами проникнутые теми культурными идеалами Запада, против которых они ратовали. «Но о какой “культуре” говорит кн. Трубецкой, — спрашивает ген. Киреев: — культура Шопенгауера, Спенсера, Ог. Конта, Зола и Оффенбаха — одна! Культура Канта, Гёте, Бетховена — другая. С первой мы имеем очень мало общего — со второй очень много. Где у нас вычитал кн. Трубецкой, что мы протестуем против всей западной культуры?» (с. 13).

С современной русской литературой натурализм Зола имеет, к сожалению, более общего, чем поэзия Гёте; в культуре современного европейски образованного русского человека не только Кант, но и Конт имеет свое значение. Но с византийско-русской допетровской культурой и ее идеалами не только Конт, но и Кант, не только Оффенбах, но и Бетховен, очевидно, ничего общего не имеют. Культура Канта есть рационализм XVIII в.; культура Гёте и Бетховена — немецкая романтика, близкая разве кружку московских славянофилов, но не Москве XV и XVI в. Чем руководствовался ген. Киреев, отдавая предпочтение глубоко протестантской философии Канта перед позитивизмом Конта, или поэзии Гёте перед другими произведениями европейских литератур? Идеалами православия, самодержавия и народности или личным вкусом, развитым европейским образованием? Если он имеет какие-либо мерки для оценки произведений западных писателей или композиторов, то он почерпнул их, конечно, не в народной русской песне, не в памятниках допетровской словесности и не в культурном идеале допетровской Москвы.

Разумеется, никакая национальная культура, как бы оригинальна она ни была, не обходится без заимствований. Но там, где она усваивает себе духовные сокровища других культур, она невольно, неизбежно проникается идеями, первоначально ей совершенно чуждыми. Весь исторически опыт России показал, что нельзя брать одни плоды западной цивилизации, не усваивая ее семян. И не только произведения европейской науки, искусства, литературы, воплощающие европейское мирозерцание, самая *техника*, которую мы прежде всего сочли необходимым заимствовать у наших западных соседей, не могла быть усвоена без того, чтобы к нам не проникло все западное просвещение, без того, чтобы весь строй нашей жизни не изменился глубоко и не приблизился к западному строю. Леонтьев в этом отношении был неизмеримо последовательнее славянофилов: он признавал внутреннюю связь духовной и материальной культуры, и боялся прежде всего материальной культуры, сознавая, что она распространяется с *физической* неизбежностью.

Из всех народов одни китайцы признавали до последнего времени, что материальная культура Европы связана с ее политическим и духовным строем, что нельзя изменить военной или промышленной техники, не изменив постепенно всю систему народного хозяйства и связанных с ним социальных отношений, не изменив всю финансовую, административную систему, всю внешнюю и внутреннюю политику государства. Один пере-

ход натурального хозяйства в денежное приближает Россию к Европе более, чем образованность отдельных умов. Прежде чем думать о том, как испортить университеты и народную школу, остановить развитие народной грамотности, которая несомненно послужит распространению «новых идей», всякий последовательный охранитель старины должен подумать о том, как испортить пути сообщения, закрыть фабрики, уничтожить флот и современное войско — словом, упразднить весь тот строй, при котором необходима народная грамотность, неизбежны иные западные учреждения, необходима западноевропейская наука. Я ни минуты не думал причислять славянофилов к ретроградом: напротив того, в своей неусыпной патриотической заботе о благосостоянии народа, о его умственном и экономическом развитии, о всяческой его эмансипации они были, вопреки своим допетровским идеалам, истинными *прогрессистами*. Я утверждаю только, что Леонтьев, бывший сознательным, убежденным реакционером, гораздо последовательнее и глубже их сознавал все духовное и политическое значение, всю социальную мощь той техники, той непрерывно прогрессирующей материальной культуры, которую мы не могли не заимствовать и которой мы не можем не развивать у себя со всеми ее логически и физически неизбежными последствиями. Очень немногие у нас, как, напр., покойный архиепископ Никанор в своем замечательном слове против железных дорог (произнесенном при освящении одной из них)<sup>4</sup>, поняли так глубоко внутреннее значение этой материальной культуры и противоречие ее духовных основ с исконным византизмом допетровской России.

Ошибка славянофилов, приводившая к значительной путанице понятий, состояла именно в их бессознательном эклектизме. Вместо того, чтобы понять целостное единство, универсальность и необходимость европейской цивилизации и стремиться к органическому соединению и примирению своих религиозных и национальных идеалов с ее началами, они восставали против устоев западной культуры, против «гнилого Запада» в его целом и в то же время брали по частям и в розницу все то, что им нравилось из европейской науки и философии, из католического и протестантского богословия, из технических изобретений и политических учреждений Запада. Признавая все русское хорошим, они нередко считали и все хорошее русским или «сродным духу русского народа», произвольно налагая свое таможенное клеймо на отдельные детали западной цивилизации.

## III

В прежней моей статье я указывал на замеченное Леонтьевым противоречие, заключающееся в усвоении славянофилами европейского либерализма, совершенно чуждого допетровскому византизму. Генерал Киреев находит, что никакого противоречия нет, но на самом деле дает нам в своей речи новый типический образчик неопределенного и мечтательного эклектизма в сфере политических принципов.

«Широкая гласность есть *conditio sine qua non* \* всякого порядка и преуспeyания», — рассуждает почтенный оратор (с. 8). «У западного государства есть великое преимущество в широкой гласности, охраняющей его от конечного падения и дающей ему возможность превосходно администрироваться» (с. 9).

Но неужели же ген. Киреев думает, что эта европейская гласность, составляющая одно из *политических прав* западных народов, мыслима без целого правового порядка этих народов? Неужели он не помнит истории гласности на Западе?

Но, может быть, у нас она должна развиваться иначе? В подтверждение своих мыслей ген. Киреев приводит несколько строк анонимного автора «о гласности и о необходимости полного и обоюдного знакомства между народом и правительством»: «народ должен знать истину о правительстве, и правительство должно знать истину о народе, и оба должны знать истинную цель своих стремлений. Правительство и народ должны знать не только конкретную истину друг о друге, но, дабы не делать ошибок во взаимных своих отношениях, они должны знать и отвлеченную истину, во имя которой эти отношения существуют (?). Они должны знать и ясно понимать те вековечные принципы, которые лежат в основе государственной жизни и которые должны руководить правительством и народом во всех его действиях. Правительство должно знать истину о своем народе. Но теперь оно узнает ее почти исключительно через своих агентов, а эти последние, докладывая своему начальству о собственных действиях по вверенному им делу, всегда склонны представить их в том виде, что «все обстоит благополучно» (с. 9).

На основании этого рассуждения довольно трудно составить себе определенное представление о том, как думает ген. Киреев организовать и обеспечить гласность? В какой форме должны мы будем представить себе тот интимный раут, на который пра-

\* Обязательное условие (*лат.*). — *Ред.*

вительство и народ имеют быть приглашены для полного обоюдного знакомства?

Правительство должно слышать глас народа не через своих агентов, а непосредственно от самого народа, быть осведомлено самим народом о его нуждах и его идеалах. Очевидно, однако, нельзя собрать весь «народ» на вечернюю сходку — даже если ограничиться одними православными великоруссами. Очевидно, с другой стороны, нельзя принять за глас народа — мнения, выражаемые отдельными газетчиками, хотя бы и весьма благонамеренными. Значит, народ должен быть представлен особыми указываемыми им и уполномоченными им на то представителями. Это будет, — чтобы не произнести ненавистного слова, — это будет всенародное представительное собрание, род «собора», о котором мечтали либеральные славянофилы. Чем, однако, такой «собор» будет отличаться от западной «говорильни»? Очевидно, и на «соборе» будут говорить, и даже исключительно говорить, «осведомлять» или «осведомляться», предоставляя действовать кому следует. Отличие между русской и западной «гласностью», по-видимому, должно заключаться не в одной праздности разговоров.

«Наш спор с конституционалистами (вернее, с парламентаристами), — говорит ген. Киреев, — может быть выражен в двух словах: *мы* верим *“в одну волю и много умов”*; *они* — *“во много волю и много умов”*. Такова формула парламентаризма» (с. 7).

Рассмотрим, однако, первую формулу ген. Киреева и спросим себя, обязательно ли для единой «воли» решение собирательного «ума»? Если нет, так не стоит к нему обращаться, понапрасну подвергая «волю» суду и пересудам всеобщего «разума» и вмешивая его в вопросы, ему не подлежащие. Если да, то, как я полагаю, не только западные конституционалисты, но даже республиканцы могут под этой формулой подписаться. Что же касается до второй формулы — «много волю и много умов», то ген. Киреев напрасно считает ее формулой парламентаризма: ее могла бы усвоить себе разве какая-нибудь анархическая вольница\*.

#### IV

Я указал на противоречия славянофильского мессианизма, намеченные Леонтьевым, и думаю, что генералу Кирееву не вполне удалось их разрешить. Главное противоречие заключа-

\* Замечу, что славянофилы, полемизируя с Вл. С. Соловьевым, оставили без ответа его превосходную критику политических «мечтаный К. Аксакова о свободе» общественного мнения<sup>5</sup>.

ется в том, что те самые начала, которые обособляли Россию от всего прочего цивилизованного мира, должны стать принципом всемирной, универсальной культуры. Мы должны только еще более обособиться, принципиально обособить наши истинно русские идеалы от западных, чтобы во всей чистоте явить их погибающему западному миру.

«Гнили, по нашему мнению, — говорит ген. Киреев, — эпископские устои Запада... гнили и его религиозные устои. Чтобы выйти из своих затруднений, Западу останется один путь — принятие наших идеалов; *насколько это возможно — вопрос другой* \*. Мессианическое значение России относительно Запада не подлежит сомнению — это не химера, не утопия. Как это ни кажется парадоксальным, мы, несомненно, можем указать ему путь спасения».

Другой вопрос, может ли Запад идти этим путем! Станный мессианизм, однако! Ведь если мы указываем Западу такой путь, которым он идти не может, и такие идеалы, которых он не может принять, то, очевидно, мы не в силах его спасти и должны вместе с Леонтьевым признать, что политический мессианизм славянофилов есть фантастическая мечта. Итак, прежде всего надо рассмотреть, в состоянии ли Запад принять славянофильские идеалы.

Наши идеалы суть православие, самодержавие и русская народность, или православие, самодержавие и славянство, — говорит ген. Киреев. — Но идеал панславизма или русской национальности, очевидно, не может быть принят Западом и спасти даже французов, не только немцев и англичан. Идеал русского национального самодержавия также едва ли может быть применим во Франции, Америке или Великобритании. По-видимому, и сам ген. Киреев того же мнения, несмотря на свой «спор с конституционалистами»: «идеалы политические (не имеющие божественного, безусловного основания) могут до известной степени изменяться в зависимости от условий места и времени» (с. 6).

Остается идеал православия — религиозная истина которого не подлежит никакому изменению. Его-то, очевидно, и имеет в виду почтенный оратор. Но и тут возникнет вопрос: *насколько «Запад» может принять православие?*

В самом деле, уже личное обращение отдельных европейских католиков и протестантов в православие встречает на практике довольно досадные (хотя и устранимые) затруднения, поскольку отдельные православные церкви не вполне выяснили вопрос о тех основаниях, на каких следует принимать запад-

\* Курсив наш.

ных христиан, т. е. признавать ли действительность таинств (крещения, рукоположения), совершенных над обращающимися до их вступления в Православную Церковь? Ген. Кирееву, несомненно, лучше меня известно, как прискорбны возникающие отсюда недоразумения. Они, конечно, устранимы, и я не стал бы о них упоминать, если бы в связи с этой неопределенностью в отношении к обращающимся в православие католикам и протестантам не стояла некоторая неопределенность в отношении к западным церквям в их целом: следует ли вообще считать их за церкви, или же вместе с Хомяковым признавать, что есть только одна Церковь — православная. В последнем случае, разумеется, никакие таинства вне ее недействительны.

Но пусть устраняется и это затруднение: пусть католики и протестанты, убедившиеся в заблуждениях своих исповеданий, не останавливаются перед условиями, которые мы можем предложить им, заботясь исключительно о спасении своих погибающих душ. Спрашивается: может ли обращение отдельных, даже весьма многих протестантов и католиков спасти самый погибающий Запад и западное государство?

Запад, по мнению генерала Киреева, гибнет именно от того, что «западное государство отделилось от Церкви, сделалось *confessionslos* \*, сделалось *l'état athée* \*\*, и потеряло ту высшую сверхюридическую связь, без которой государство не может жить, без которой оно превращается в компанию на акциях, стремящуюся к удовлетворению материальных потребностей». Сила России, напротив того, всецело зависит от органической связи, которая еще существует в ней между Церковью и государством. «Ведь мы и государство, мы же и Церковь, — говорит ген. Киреев, — поэтому между нами как государством! и нами же как Церковью могут быть лишь временные недоразумения, временные размолвки, а не принципиальная борьба, как на Западе! Не можем же мы бороться сами с собой!» (с. 9).

Правда, не можем! И я даже не понимаю, о каких временных недоразумениях и размолвках говорит ген. Киреев. Он, по всей вероятности, разумеет русских неправославного вероисповедания: вот между ними как Церковью и ими же как государством действительно могут возникать временные недоразумения в тех случаях, например, когда они, по ошибке, числятся православными.

Но как бы то ни было, если Западу нужна единая Церковь и органическая связь Церкви с государством, недостаточно обра-

\* внеконфессиональный (лат.). — Ред.

\*\* атеистическое государство (фр.) — Ред.

щать *отдельных* европейцев в православие или даже в славянофильство: это может только усилить «принципиальную борьбу» таких европейцев «между собою как Церковью и собою же как государством». И если такая борьба не примет самых острых форм, то разве потому, что европейское государство «стало confessionslos». Иначе борьбе пришлось бы тянуться до тех пор, пока западные правительства не усвоят себе нашей русской вероисповедной политики, что во всяком случае может случиться не скоро, — точнее, никогда не может случиться.

Присоединение *отдельных* протестантов или католиков к православию никак не может дать *Западу единой* религиозной основы общественной жизни, единой Церкви, скрепляющей государство своей «сверхюридической нравственной связью». Из примера старокатоличества, на которое ссылается ген. Киреев, мы видим, что даже обращение в православие целых общин могло бы создать на Запад лишь новую Церковь наряду с другими и тем самым усугубить религиозную рознь Запада. Не этого, конечно, желает ген. Киреев для его спасения. Другое дело, если бы сами западные церкви приняли православие!

Но *обращать* можно не церкви, а отдельные общины или отдельные лица. Разделенные церкви могут враждовать между собою, могут и примириться во Христе, могут выработать основания для своего общения и соединения. Во всяком случае славянофильское богословие Хомякова, не признававшего ни римской, ни протестантских церквей в качестве церквей, и учившее, что есть только одна православная греко-российская церковь, не оставляет места для какой бы то ни было речи о *соединении церквей*. Остается только заботиться об обращении отдельных иноверцев и, оставив мысль о «мессианизме России относительно Запада», обратиться к миссионерской деятельности отдельных православных проповедников среди западных нехристей. Мало того, хотя красноречивая и убежденная проповедь свободы совести составляет одну из самых крупных заслуг славянофилов, их богословские теории могут вести на практике лишь к большему обострению вероисповедной распри и к отрицанию церковных прав католичества и протестантства.

Как бы то ни было, Европа не может вступить на путь, указываемый ей генералом Киреевым, и усвоить наши идеалы славянства, самодержавия и православия: первые два — потому что они наши *национальные* идеалы, третий — потому что сами славянофилы последовательно не могут допустить мысли о соединении церквей и хотят лишь присоединения отдельных европейцев, их отречения от католицизма и протестантства, при чем такое отступничество может очевидно спасти лишь отступ-

ников, а никак не погибающий Запад и его государства. Во что же обращается славянофильский мессианизм? Не должны ли мы вместе с Леонтьевым отречься от него, точно так же как от панславизма, от просвещения, от общественного развития России?

Понятие мессианизма более всякого другого нуждается в точном определении. Вспомним только, как различно понимался мессианизм в эпоху пришествия самого Мессии! Одни ждали от Него хлеба с небес, другие — знамений, третьи — политического возвеличения рода избранного путем поражения других народов. Те три искушения, с которыми Христос боролся в пустыни, были именно искушениями *ложного мессианизма*. И отечественный мессианизм может пониматься весьма различно: одни могут видеть миссии России в разрешении социального вопроса, другие — во всемирном владычестве, в каком-то страшном суде над народами Европы. Ген. Киреев видит истинный мессианизм в подвигах самоотречения, в бескорыстной, христианской политике, которой должен следовать русский народ. Это более согласно с христианским учением, но не всегда согласимо с требованиями национальной политики. Ведь признает же ген. Киреев, что интересы национальностей, напр. русской и польской или немецкой или еврейской, могут сталкиваться. Как же тут поступить? каким принципом руководствоваться?

## V

Итак, мне кажется, ген. Киреев слишком поспешно высказывает столь решительное осуждение К. Леонтьеву. Его критика панславизма, его критика мессианизма, культурных и политических замыслов славянофильства — остается в силе; она показывает, что все эти замыслы предполагают не обособление от Западной Европы, а глубокое принципиальное сближение с нею и постольку заключают в себе противоречие; она показывает, что на почве исключительного утверждения допетровских, византийских идеалов наших такие замыслы представляются не только неосуществимыми, но опасными и нежелательными. Но значение Леонтьева этим не ограничивается: он показал, к чему могло бы привести исключительное развитие Россией византийских начал при насильственном устранении западных элементов нашей культуры. Он последовательно продумал свою мысль до конца — и результатом ее было не только разочарование в панславизме, но и во всей русской культуре, смешанной из византийских и западноевропейских начал. Обособляя византийские идеалы допетровской Руси, он и мечтал о возникновении самобытной культуры вполне византийской, с культурным

центром в Царьграде, вне пределов России; ибо он сознавал, что Россия уже *бесповоротно* приняла материальную и отчасти духовную культуру Запада. Леонтьев указал и единственно правильный путь к достижению своей цели — ту антикультурную и разрушительную политическую программу, которую ген. Киреев характеризует как аракчеевщину и которая является лишь последовательным развитием исключительного византизма нашего «разочарованного славянофила».

Учение Леонтьева, как бы оно ни было уродливо, могло бы послужить славянофилам: оно могло бы открыть им глаза на их собственное учение, на их неполноту и недомолвки, их ложное понимание русской и всемирной истории, их *нерусское* отношение к Западу и европейской культуре.

Раннее славянофильство с своей романтикой принадлежит безвозвратному прошлому. Оно сыграло славную роль в истории русского просвещения, и русское общество будет чтить память его родоначальников. Несмотря на принципиальное разногласие с ними, я не думаю, однако, чтобы оно совсем умерло и не могло иметь преемников. Напротив того, я думаю, что оно может еще ожить, не отрекаясь ни от Церкви, ни от своего широко понимаемого монархического идеала, ни от народолюбия, ни от славянства, ни от гласности и свободы совести. Преемникам старых славянофилов придется только отречься от обветшалой романтики своих предшественников, от их ложного антиисторического понимания западного государства, западного христианства и западной культуры — в Европе и в России. Им придется помириться с «западничеством» *принципиально*, а не на почве поверхностного эклектизма; им придется понять, что византийский партикуляризм, мнимо-культурное самоослабление России, которое славянофилы до сих пор проповедовали, противоречит всем их широким замыслам и последовательно ведет к учению Леонтьева, к отречению от современной России — не только от славянства или мечтаний политического мессианизма.

Отношение славянофилов к Европе было и непоследовательным, и нерусским. Оно было бы византийским, если бы оно не было внушено европейской романтикой. Пусть существенное культурное отличие России от Европы обуславливается византийским происхождением ее религиозных и государственных идеалов; оригинальность России в отличие от Византии выражается в том, что ее отношение к Европе в корне отлично от византийского. Романтический протест против европейской культуры звучал анахронизмом уже в пятидесятых и шестидесятых годах; теперь он является явным недомыслием. Преем-

ники старых славянофилов, в которых остался еще истинный и просвещенный патриотизм, должны отречься от этой принципиальной вражды против Запада — отречься во имя России и славянства, во имя своих идеалов. Пусть оставят они такую «принципиальную вражду» сознательным обскурантам, как Леонтьев, врагам гласности, просвещения, общественного развития и свободы совести. Не западники, не открытые противники и критики славянофильства компрометируют его в общественном мнении, а именно те ложные патриоты, которые усваивают одни его ошибки, наружно прикрываясь его идеалами. Во имя старого славянофильства, во имя всего, что было в нем честного и хорошего, его теперешние преемники должны отречься от таких ложных патриотов и положить между ними и собою непроходимую грань. А это в свою очередь возможно лишь путем отречения от ошибок и заблуждений старого славянофильства, в которых заключается мнимое оправдание теперешних реакционеров и обскурантов. Ошибки и заблуждения есть во всяком человеческом учении: исправляя их, оно лишь доказывает свою жизненность и способность к развитию.

Судьбы славянофильства в наши дни напоминают известную сказку об Иване-царевиче. В своих поисках за жар-птицей этот мифический представитель русского духа, «воочию совершившегося» перед бабой-Ягю, пришел однажды к распутию, от которого шли три дороги. При распутии стоял столб и на столбе была надпись: «Пойдешь направо — погибнет твой конь, но сам останешься цел; поедешь налево — себя загубишь, но коня сбережешь; поедешь прямо — сбережешь и себя, и коня, но всю дорогу будешь голоден и холоден и никуда не доедешь». Иван-царевич, недолго думав, повернул направо и предпочел серого волка, заевшего его коня, тем волкам, которые неизбежно должны были съесть его самого.

Современное славянофильство давно уже пришло к подобному распутию: если оно решится пожертвовать своим ложным коньком, оно сбережет себя и может еще быть плодотворным; если оно дорожит коньком своим больше, чем собой и своими идеалами, оно пойдет по пути Леонтьева, где оно неизбежно погибнет. Если же оно захочет идти прямо, тем средним путем, какой указывает ген. Киреев, сохраняя и свои идеалы, и своих коньков — оно будет голодно, холодно, бесплодно и никуда не доедет, хотя бы ему была дана драчун-дубинка и шапка-невидимка Ивана-царевича!

